

## **Святополк-Мирский Д. П.** **Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи**

Деятнадцатый век говорил: «Пушкин и Лермонтов», но было тогда небольшое меньшинство, говорившее: «Пушкин, Тютчев и Баратынский». Этих трех называет Иван Аксаков в замечательных вступительных страницах «Жизни Тютчева». Эти трое представляли русскую поэзию в глазах П. И. Бартенева. Этих трех включил Толстой в свой «Круг чтения». Баратынский был типичным «поэтом для немногих», Тютчев был скорее поэтом для поэтов, для всех поэтов. Тургенев и Некрасов, люди глубоко чуждые ему по духу, видели «превосходство» его «мощной мысли» не менее ясно, чем считавший себя его учеником Фет. И не только для поэтов, для Менделеева, как и для Толстого, *Silentium* было величайшим стихотворением в мире. Потом пришли Владимир Соловьев и символисты, открыли тютчевскую метафизику, провозгласили его своим предтечей и сделали поэтом своей современности. В год перед войной шел фильм, озаглавленный стихом из Тютчева, а младшие поэты начинали восставать против вынесенного на улицу (или скорее в кабаре) Тютчева и противопоставлять ему заумного и не портящегося Языкова. Век символистов прошел. Тютчев не стал всенародным классиком. Он потерял всякую «актуальность». Он остается поэтом тех, кто любит поэтов и кто любит в них не заразительную и зажигающую эмоциональность, а устоявшийся осадок на дне невзрытых ключей.

Тютчев стоит рядом с Пушкиным по своей бесспорности и высокой чистоте своих созданий. Рядом с Пушкиным он стоит и как мастер, «относящийся к слову честно», чуждый приблизительности, наполняющий словесный ряд стиха предельно тесно, не растворяющий его и стремительном водопаде эмоциональной динамики. К этому типу принадлежали, кроме Пушкина и Тютчева, Ломоносов и Баратынский. Им противопоставляются поэты «1/4 золотые, 3/4 свинцовые» – иногда не менее гениальные, часто более динамические, но всегда менее веские – Державин, Лермонтов, Некрасов, Блок. Фет и Анненский стремились к тютчевской нагрузке – но, живя в эпоху глубокого упадка словесной культуры, никогда не смогли вполне овладеть своим словесным материалом. Тютчев, как Пушкин, был наследник великой культуры классицизма, еще органически помнил Ломоносова и весь за ним стоящий европейский классицизм. У них было в руках достойное оружие, от них никем уж не унаследованное. Чтобы оценить всю разницу словесной культуры между Тютчевым и поколением 40-х годов, достаточно сравнить тургеневские переделки тютчевских стихов (в издании 1854 г.) с первоначальными текстами (в пушкинском «Современнике») Тургенев видел величие Тютчева, но не только не мог понять его ритмики (которую выравнивал по учебнику), но не мог охватить тютчевских образов в их цельности: заменив во «Сне на море» стих «И сонмы кипел безмолвной толпы» стихом «И чудился шорох несметной толпы» – а этим уничтожил все безмолвное единство Тютчевского сна.

Тургенев любил русскую природу и, очевидно, вычитывал в Тютчев орловские пейзажи. Для Тургенева, как и для Фета и Толстого и для всех дворянских писателей середины века, не было другой природы: кроме природы их имений. (Социологически это совпадало с объективной необходимостью для черноземного дворянства прочнее «сесть на землю», чтобы преодолеть крепостные условия в «прусском» направлении. У Фета и Толстого это было и биографически так.) Ни Тютчев, ни Пушкин, ни

Баратынский не отождествляли природы; Овстугом, Михайловским или Марой. Россия для них была прежде всего империя, политическое единство, которое они воспринимали как целое, не родина, а отечество. Они были еще людьми правящего дворянства, служилые люди, а не «землевладельцы», владельцы абстрактных душ, а не конкретных десятин. Но они были и «русские европейцы», они не только владели языком универсальным, на котором они могли говорить об Испании и Италии (с другой стороны, мгновенное бессилие Тургенева как только он заговаривает не о русском – «Призраки», «Песнь торжествующей любви»), но и сердце их жило на Западе. Тютчев никогда «под дымчатым навесом огромной тучи снежной» не мог забыть –

Что есть края, где радужные горы  
В лазурные глядятся озера,  
что не в России,  
Не здесь расцвел, не здесь был величаем  
Великий праздник молодости чудной, –  
что есть  
Край иной, родимый край  
Словно прадедов виною  
Для сынов погибших рай.

Но не только Тютчев, биографически столь тесно связанный с Западом (с Германией – однако поэзия его гораздо больше дома в Италии, чем на Дунае), смотрел на Россию как на край мрачного изгнания, – Баратынский, любивший «родные степи», но говоривший о них не усадебным тургеневским, а столичным петербургским языком, – Баратынский был в первый раз в жизни счастлив чистым счастьем, когда «руки *марсельских* матросов

Подняли якорь – надежды символ».

И когда он увидел «башни Ливурна» и «элизий земной», Неаполь; и Пушкин (в котором есть, конечно, тоже тургеневские зародыши, как есть и некрасовские – «и выстраданный стих» – и даже брюсовские – «миг последних содроганий») знал, что «наше северное лето – карикатура южных зим», что нет ничего веселого в убогом ряде избышек крепостной деревни и совершенно иначе говорил о Средиземном море и его латинских берегах, где

Ночь лимоном  
И лавром пахнет, –  
где неба своды  
Пылают в блеске голубом,  
Где тень олив легла на воды, –  
Где кипарисные благоухают рощи.

В своих величайших поэтах Русская Европа отрывалась от Империи и от постигнутого неотразимым роком своего класса. Линия дворянства уже не была восходящей, и созданная им империя была в параличе. Как не похоже на пейзажное западничество Тютчева и Пушкина цветущее евразийство поэта Петровской индустриализации Ломоносове и поэта тропически-агрессивного Екатерининского крепостничества Державина – одевавшего в золото шекснинских стерлядей и в «жемчуги драгие» своих крепостных девушек. Поэзия уральской горнопромышленности («И се Минерва ударяет в верхи Рифейски копием») олонецкого белого угля («Водопад») была уже

чужда поколению Пушкина и Тютчева, и ей не суждено было вернуться в Русскую поэзию прежде Революции. Менделеев был химиком, как Ломоносов, но уж не был поэтом. С восемнадцатым веком русский правящий класс утратил свою свежесть и наивность, свою обращенность наружу. Глубокая трещина в природе крепостной империи (только еще шире раздавшаяся с неполным перерождением ее в империю капиталистическую) делав весь XIX век, начиная уже с Пушкина, объективно трагическим – и направляет его внутрь. Эта обращенность внутрь отделяет век Толстого от века Ломоносова. Она принимает самые разнообразные формы от гамлетизма какого-нибудь Огарева до трагических автокарикатур Гоголя и до трагической автомифологии Блока. Самое благородное тихое проявление этой обращенности внутрь – поэзия Тютчева, соединяющая величайшее богатство внутреннего пейзажа со строжайше дисциплиной лаконического слова и «возвышенной стыдливостью углубленного молчания». За маской острослова и панслависта Тютчев сумел не возмутить своих внутренних ключей и питает ими все: могущих ими питаться.